

Н. М. Карамзин

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЬ МЕЛАНХОЛИКА

Зима свирепая исчезла,
Исчезли мразы, иней, снег;
И мрак, всё в мире покрывавший,
Как дым рассеялся, исчез.

Не слышим рева ветров бурных,
Страшивших странника в пути;
Не видим туч тяжелых, черных,
Текущих с севера на юг.

Весна с улыбкою приходит;
За нею следом мир течет.
На персях нежныя Природы
Играет, резвится Зефир.

Дождь тихий с неба к нам лиется
И всё творение живит;
В полях все травы зеленеют,
И луг цветами весь покрыт.

Уже фиалка распустилась,
Смиренно под кустом цветет,
Амброзией питает воздух;
Не ждя похвал, благотворит.

На ветвях птички воспевают
Хвалу всещедрому творцу;
Любовь их песни соглашает,
Любовь сердца их веселит.

Овечки кроткие гуляют
И щиплют травку на лугах;
В сердцах любовь к творцу питают-
Без слов его благодарят.

Пастух играет на свирели,
Лежа беспечно на траве;
Питаясь духом благовонным,
Он хвалит красоту весны.

66

Везде, везде сияет радость,
Везде веселие одно;
Но я, печалью отягченный,
Брожу уныло по лесам.

В лугах печаль со мною бродит.
Смотря в ручей, я слезы лью;
Слезами воду возмущаю,
Волную вздохами ее.

Творец премудрый, милосердый!
Когда придет весна моя,
Зима печали удалится,
Рассеется душевный мрак?

1788

ОСТРОВ БОРНГОЛЬМ

Друзья! прошло красное лето, золотая осень побледнела, зелень увяла, деревья стоят без плодов и без листьев, туманное небо волнуется, как мрачное море, зимний пух сыплется на хладную землю — простимся с природою до радостного весеннего свидания, укроемся от вьюг и метелей — укроемся в тихом кабинете своем! Время не должно тяготить нас: мы знаем лекарство от скуки. Друзья! Дуб и береза пылают в камине нашем — пусть свирепствует ветер и засыпает окна белом снегом! Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки, и повести, и всякие были.

Вы знаете, что я странствовал в чужих землях, далеко, далеко от моего отечества, далеко от вас, любезных моему сердцу, видел много чудного, слышал много удивительного, многое вам рассказывал, но не мог рассказать всего, что случилось со мною. Слушайте — я повествую — повествую истину, не выдумку.

Англия была крайним пределом моего путешествия. Там сказал я самому себе: «Отечество и друзья ожидают тебя; время успокоиться в их объятиях, время посвятить страннический жезл твой сыну Маину¹,

¹ Во время древности странники, возвращаясь в отечество, посвящали жезлы свои Меркурию.

661

время повесить его на густейшую ветвь того дерева, под которым играл ты в юных летах своих», — сказал и сел в Лондоне на корабль «Британию», чтобы плыть к любезным странам России.

Быстро катились мы на белых парусах вдоль цветущих берегов величественной Темзы. Уже беспредельное море засинелось перед нами, уже слышали мы шум его волнения — но вдруг переменился ветер, и корабль наш, в ожидании благоприятнейшего времени, должен был остановиться против местечка Гревзенда.

Вместе с капитаном вышел я на берег, гулял с покойным сердцем по зеленым лугам, украшенным природою и трудолюбием, — местам редким и живописным; наконец, утомленный жаром солнечным, лег на траву, под столетним вязом, близ морского берега, и смотрел на влажное пространство, на пенистые валы, которые в бесчисленных рядах из мрачной отдаленности неслия к острову с глухим ревом. Сей унылый шум и вид необозримых вод начинали склонять меня к той дремоте, к тому сладостному бездействию души, в котором все идеи и все чувства останавливаются и цепенеют, подобно вдруг замерзающим ключевым струям, и которое есть самый разительнейший и самый пиитический образ смерти; но вдруг ветви потряслись над моею головою... Я взглянул и увидел — молодого человека, худого, бледного, томного, — более привидение, нежели человека. В одной руке держал он гитару, другою срывал листочки с дерева и смотрел на синее море неподвижными черными глазами своими, в которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться с его взором: чувства его были мертвы для внешних предметов; он стоял в двух шагах от меня, но не видал ничего, не слышал ничего. — «Несчастный молодой человек! — думал я. — Ты убит роком. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты несчастлив!»

Он вздохнул, поднял глаза к небу, опустил их опять на волны морские — отошел от дерева, сел на траву, заиграл на своей гитаре печальную прелюдию, смотря беспрестанно на море, и запел тихим голосом

1793

МОРЕ

Элегия

В. А. Жуковский

Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мне глубокую тайну твою:
Что движет твое необъятное лоно?
Чем дышит твоя напряженная грудь?
Иль тянет тебя из земныя неволи
Далекое светлое небо к себе?..
Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто в присутствии чистом его:
Ты льешься его светозарной лазурью,
Вечерним и утренним светом горишь,
Ласкаешь его облака золотые
И радостно блещешь звездами его.
Когда же собираются темные тучи,
Чтоб ясное небо отнять у тебя —
Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,
Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...

И мгла исчезает, и тучи уходят,
Но, полное прошлой тревоги своей,
Ты долго вздымаешь испуганны волны,
И сладостный блеск возвращенных небес
Не вовсе тебе тишину возвращает;
Обманчив твоей неподвижности вид:
Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,
Ты, небом любуясь, дрожишь за него.

1822

Цыганы

А. С. Пушкин

Восток, денницей озаренный,
Сиял. Алеко за холмом,
С ножом в руках, окровавленный
Сидел на камне гробовом.
Два трупа перед ним лежали;
Убийца страшен был лицом.
Цыганы робко окружали
Его встревоженной толпой.
Могилу в стороне копали.
Шли жены скорбной чередой
И в очи мертвых целовали.
Старик-отец один сидел
И на погибшую глядел
В немом бездействии печали;
Подняли трупы, понесли
И в лоно хладное земли
Чету младую положили.
Алеко издали смотрел
На всё... когда же их закрыли
Последней горстию земной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.
Тогда старик, приблизясь, рек:
«Оставь нас, гордый человек!
Мы дики; нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним —
Не нужно крови нам и стонов —

Но жить с убийцей не хотим...
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас,
Прости, да будет мир с тобою».
Сказал — и шумною толпою
Поднялся табор кочевой
С долины страшного ночлега.
И скоро всё в дали степной
Сокрылось; лишь одна телега,
Убогим крытая ковром,
Стояла в поле роковом.
Так иногда перед зимою,
Туманной, утренней порою,
Когда подьмется с полей
Станица поздних журавлей
И с криком вдаль на юг несется,
Пронзенный гибельным свинцом
Один печально остается,
Повиснув раненым крылом.
Настала ночь: в телеге темной
Огня никто не разложил,
Никто под крышею подъемной
До утра сном не опочил.

Эпилог

Волшебной силой песнопенья
В туманной памяти моей
Так оживляются виденья
То светлых, то печальных дней.
В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал,
Где повелительные грани
Стамбулу русский указал,
Где старый наш орел двуглавый
Еще шумит минувшей славой,
Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.

В походах медленных любил
Их песен радостные гулы —
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.
Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

1824

А. С. Пушкин: Евгений Онегин глава 3

XVI

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить.
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты,
Дыханье замерло в устах,
И в слухе шум, и блеск в очах...
Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальный свод небес,
И соловей во мгле древес
Напевы звучные заводит.
Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит:

Михаил Лермонтов

* * *

1

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит.

2

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

3

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

4

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;

5

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

Ф. В. Булгарин

ГЛАВА I

СИРОТКА, ИЛИ КАРТИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ВО ВКУСЕ ФЛАМАНДСКОЙ ШКОЛЫ

До десятилетнего возраста я рос в доме белорусского помещика Гологордовского, подобно доморощенному волчонку, и был известен под именем сиротки. Никто не заботился обо мне, а я еще менее заботился о других. Никто не приласкал меня из всех живших в доме, кроме старой, заслуженной собаки, которая, подобно мне, оставлена была на собственное пропитание.

Для меня не было назначено угла в доме для жительства, не отпускалось ни пищи, ни одежды и не было определено никакого постоянного занятия. Летом я проводил дни под открытым небом и спал под навесом хлебного анбара или на скотном дворе. Зимой я жил в огромной кухне, которая служила местом собрания всей многолюдной дворне, и спал на большом очаге, в теплой золе. Летом я ходил в одной длинной рубахе, подпоясавшись веревкою; зимою прикрывал наготу свою чем попало: старую женскую кофтой или полуразрушившимся армяком; этим убранством снабжали меня сострадательные люди, не зная, куда девать старые тряпки. Я вовсе не носил обуви и так закалил мои ноги, что ни мягкая трава, ни грязь, ни лед не производили в них никакого ощущения. Головы я также никогда не прикрывал: дождь смывал с нее пыль, снег очищал золу. Питался я остатками от трапезы дворовых людей, в разных отделениях дома, и лакомился яйцами, которые подбирали в окрестностях курятника и под хлебным анбаром; остатками в молочных горшках, которые я вылизывал с необыкновенным искусством, и овощами, краденными по ночам в огороде. У меня не было никакого непосредственного начальника, а всякий помыкал мною по произволу. Летом меня заставляли пасти гусей на выгоне или на берегу пруда стеречь утят и цыплят от собак и коршунов. Зимой меня употребляли вместо машины для оборачивания вертела на кухне, и это было для меня самое приятное занятие. Всякий раз, что повар или поваренки отворачивались от очага, я проворно дотрогивался ладонью до сочного жареного и под рукавом сосал жирную руку, как медведь лапу; иногда я очень искусно обрывал куски ветчины из шпигованья и похищал котлеты из кастрюль. Главная моя обязанность состояла в том, чтоб быть на посылках у всех лакеев, служанок и даже мальчиков. Меня посылали в корчму за водкою, ставили на часы в разных местах, неизвестно для какой причины приказывая свистеть или бить в ладоши при появлении господина, приказчика, а иногда даже других лакеев и служанок. По первому слову: "Сиротка! сбегай туда-то; кликни того-то", - я пускался из всех ног и исполнял приказания со всею точностью, потому что малейшее упущение влекло за собою неминуемые побои. Когда меня ставили на часы и не велели оглядываться (что особенно случалось в саду), я стоял как вкопанный в землю, не смел даже шевелить глазами и тогда только двигался, когда меня сталкивали с места. Иногда, хотя очень редко, меня награждали за мою усердную службу куском черного хлеба, старой ветчины или сыру; и я, как ни бывал голоден, всегда, однако ж, делился этим с моею любимой собакой, кудлашкой.

Видя, как других детей ласкают и целуют, я горько плакал, не знаю, по какому-то чувству зависти и досады; ласки и лизанье кудлашки облегчали грусть мою и делали сноснее мое одиночество. Смотри, как другие дети ласкаются к своим матерям и нянькам, я ласкался к моей кудлашке и называл

ее маменькою и нянюшкою, обнимал ее, целовал, прижимал к груди и валялся с нею на песке. Мне хотелось любить людей, особенно женщин; но я не мог питать к ним другого чувства, кроме боязни. Меня все били и толкали: с досады, для забавы и от скуки. Когда я попадался навстречу лакею или служанке, получившим гонку или побои от господ, они вымещали на мне свою досаду, сгоняя с дороги пощечиною или щелчком, с приговоркою: "Пошел прочь, _сиротка_!" Если я из любопытства хотел иногда посмотреть, как запрягают цугом лошадей, - кучера, чтобы возбудить смех в других зрителях, хлопали бичом над моею головою или стегали по ногам и заставляли меня с воплем прыгать под ударами. К псарям я не смел приближаться на расстояние длины арапника. Даже пастухи издевались надо мною: они, для шутки, вгоняли меня плетью в стадо и утешались, смотря, как я в страхе увертывался между коровами и овцами. Два господские сынка забавлялись, стреляя в меня из лука и травя малыми комнатными собачками, от которых, однако ж, защищала меня всегда моя _кудлашка_.

Самого барина я редко видал: встретив меня однажды на дворе, он запретил мне приближаться даже к окнам господского дома, и так страшно стукнул ногою, примолвив: "Прочь, зверенок!", что я не смел более показываться ему на глаза и прятался в собачью конурку, лишь только, бывало, завижу его издали. Барыню и двух барышень я видал не иначе как чрез забор в саду или в коляске и знал их только по нарядам. Приказчика и его жены я боялся, как смерти, потому что они несколько раз секли меня, в пример милому их сынку, который не хотел учиться азбуке, но любил разорять птичьи гнезда и швырять камнями в господских утят и цыплят: истребление домашних птиц этим негодяем приписывалось коршунам и моему несмотрению. В наказание за проказы этого шалуна, его заставляли смотреть, как меня секут, и слушать нравоучение, которое заключалось в сих словах: "Смотри, Игнашка, если ты будешь долее шалить и не станешь учиться, то и тебя будут так же больно сечь, как этого _сиротку_. Слышишь ли, как он визжит? Вот и ты запоешь этим же голосом!" В награждение за драматическое представление этого опыта нравоучения, жена приказчика давала мне кусок хлеба с сыром или крынку молока, которое я глотал пополам со слезами, не постигая ни причины наказания, ни милости.

Вот все, что я помню из первого моего детства, которое врезалось в моей памяти одними горестями и страданиями. Наконец судьбе угодно было облегчить тяжкую мою долю и, по крайней мере, включить меня в число словесных тварей. Эта перемена случилась со мною таким образом:

Одна из служанок, Маша, веселая и миловидная девушка, которая ставила меня на часы в саду чаще, нежели другие горничные, однажды встретив меня на дворе в сумерки, в осеннюю пору, подозвала к себе, погладила по головке и сказала:

- Возьми эту бумажку, _сиротка_ ; сожми крепко в руке и ступай в деревню. Там, в доме старосты, спроси, где живет офицер, отдай ему бумажку и воротись назад. Только никому не говори, что ты послан от меня, и если б кто хотел у тебя отнять бумажку, съешь ее, а не отдавай. Понял ли ты, _сиротка_ ?

- Понял.

- Ну, перескажи ж мне все, что я тебе сказала.

Я пересказал ей слово в слово, и она так была довольна этим, что чуть меня не поцеловала, и удержалась потому только, что я был слишком замаран.

- А знаешь ли ты дом старосты?

- Как не знать: третий от корчмы.
- Хорошо. А знаешь ли, что такое офицер?
- Ну, тот барин, что красные заплаты на кафтане, что ездит верхом и что ходит вечером...

1829

Старосветские помещики

Н. В. Гоголь

Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владельцев отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своею пестротой и совершенною противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекатурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владельцев так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и беспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереєю из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущею вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною дорожкой от амбара до кухни и от кухни до барских покоев; длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами; частокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами; воз с дынями, стоящий возле амбара; отпряженный вол, лениво лежащий возле него, — все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, оттого, что я уже не вижу их и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние; лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой; самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владельцы этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в

низменную буколическую жизнь. Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда вообразу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, — и ничего более. Грустно! мне заранее грустно! Но обратимся к рассказу. Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружающих мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько сурьезна, почти никогда не смеялась; но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы, верно, нашли бы улыбку уже чересчур приторною для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такою приятностию, что художник, верно бы, украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают наконец капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на *о*, слог *въ*. Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же как и все малороссийские старинные и коренные фамилии. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу *ты*, но всегда *вы*; вы, Афанасий Иванович; вы, Пульхерия Ивановна. «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?» — «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточивалась на них же самих. Когда-то, в молодости, Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд-майором, но это уже было очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился тридцати лет, когда был молодцом и носил шитый камзол; он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него; но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил. Все эти давние, необыкновенные происшествия заменились спокойною и уединенною жизнью, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу. Он всегда слушал с приятною улыбкою гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое

любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою. Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти треть часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сени, всегда почти до самого потолка наполненные соломою, которую обыкновенно употребляют в Малороссии вместо дров. Треск этой горящей соломы и освещение делают сени чрезвычайно приятными в зимний вечер, когда пыльная молодежь, прозябнувши от преследования за какой-нибудь смуглянкой, вбегает в них, похлопывая в ладоши. Стены комнат убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамах. Я уверен, что сами хозяева давно позабыли их содержание, и если бы некоторые из них были унесены, то они бы, верно, этого не заметили. Два портрета было больших, писанных масляными красками. Один представлял какого-то архиерея, другой Петра III. Из узеньких рам глядела герцогиня Лавальер, запачканная мухами. Вокруг окон и над дверями находилось множество небольших картинок, которые как-то привыкаешь почитать за пятна на стене и потому их вовсе не рассматриваешь. Пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержащийся с такою опрятностию, с какою, верно, не содержится ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее. Комната Пульхерии Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с разноцветною шерстью, лоскутков старинных платьев, шитых за полстолетие, были уложены по углам в сундучках и между сундучками. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится. Но самое замечательное в доме — были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому виною или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет, — но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно наконец слышалось: «батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей... и Боже, какая длинная навеваётся мне тогда вереница воспоминаний! Стулья в комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были все с высокими выточенными спинками, в натуральном виде, без всякого лака и краски; они не были даже обиты матернею и были несколько похожи на те стулья, на которые и доньше садятся архиереи. Треугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, выточенных листьями, которых мухи

усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц, — вот все почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики. Девичья была набита молодыми и немолодыми девушками в полосатых исподницах, которым иногда Пульхерия Ивановна давала шить какие-нибудь безделушки и заставляла чистить ягоды, но которые большею частью бегали на кухню и спали. Пульхерия Ивановна почитала необходимостью держать их в доме и строго смотрела за их нравственностью. Но, к чрезвычайному ее удивлению, не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчику, который ходил в сером полуфраке, с босыми ногами, и если не ел, то уж верно спал. Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы вперед этого не было. На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ос; но как только подавали свечи, вся эта ватага отправлялась на ночлег и покрывала черною тучею весь потолок.

1832

Анна Ахматова

Нам свежесть слов и чувства простоту
Терять не то ль, что живописцу — зренье
Или актеру — голос и движенье,
А женщине прекрасной — красоту?

Но не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами:
Осуждены — и это знаем сами —
Мы расточать, а не копить.

Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И равнодушие толпы.

23 июня 1915

Марина Цветаева

Зимой

Снова поют за стенами
Жалобы колоколов...
Несколько улиц меж нами,
Несколько слов!

Город во мгле засыпает,
Серп серебристый возник,
Звездами снег осыпает
Твой воротник.

Ранят ли прошлого зовы?
Долго ли раны болят?
Дразнит заманчиво-новый,
Блещущий взгляд.

Сердцу он (карий иль синий?)
Мудрых важнее страниц!
Белыми делает иней
Стрелы ресниц...

Смолкли без сил за стенами
Жалобы колоколов.
Несколько улиц меж нами,
Несколько слов!

Месяц склоняется чистый
В души поэтов и книг,
Сыплется снег на пушистый
Твой воротник.

В. Маяковский
Облако в штанах

Облако в штанах

Тетраптих

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке.
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут,
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огрómив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!
Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.
И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.
Хотите —
буду от мяса бешеный
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!
Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся мужчины,
залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
было в Одессе.
«Приду в четыре», — сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.
Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.
В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.
Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!
Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой

спрятать в мягкое,
в женское.
И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.
Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоья.
Полночь, с ножом мечась,
догна́ла,
зарезала, —
вон его!
Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.
В стеклах дождевки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.
Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, —
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.
Рухнула штукатурка в нижнем этаже.
Нервы —

большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!
А ночь по комнате тинится и тинится, —
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.
Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.
Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».
Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.
Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!
И украли.
Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!
Дразните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразили Везувий!
Эй!
Господа!
Любители

святотатств,
преступлений,
боев, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?
И чувствую —
«я»
для меня малю.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Алло!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.
Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!
На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.
Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

С. Есенин

Письмо к матери

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,

Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечалось,
Не волнуй того, что не сбылось,—
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

Гаврила Романович Державин (1743-1816)

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ

ОДА ЕКАТЕРИНЕ II

Вдохни, о истина святая!
Свои мне силы с высоты;
Мне, глас мой к пенью напрягая,
Споборницей да будешь ты!
5Тебе вослед идти я тщуся,
Тобой одною украшуся.
Я слабость духа признаваю,
Чтоб лирным тоном мне греметь;
Я Муз с Парнасса не сзываю,
10С тобой одной хочу я петь.

Велико дело и чудесно
В подоблачной стране звучать
И в честь владетелям нелестно
Гремящу лиру настраивать;
15Но если пышные паренки
Одним искусством, в восхищеньи,
Сердца, без истины, пленяют;
То в веки будущих времен
В подобны басни их вменяют,
20Что пел Гомер своих времен.

На что ж на горы горы ставить
И вверх ступать как исполин?
Я солнцу свет могу ль прибавить,
Умножу ли хоть луч один?
25Твои, монархиня, доброты,
Любовь, суд, милость и щедроты
Без украшений сияют!
Поди ты прочь, витийский гром!
А я, что Россы ощущают,
30Лишь то моим пою стихом.

Возвед своих я мыслей взоры
Над верх полночных страны,
Какие, слышу, разговоры
По селам, градам ведены
35Тебе, о мать Екатерина,
Плетется там похвал пучина;
Усердны чувства то вспалает
И движет к оному язык!
О коль, — толпа людей вещает, —
40В владевшей нами Бог велик!

Он дал нам то в императрице,

Чем Петр премудр в законах слыл;
Что купно видел свет в девице,
Как век ея незлобив был:
45Шумящей славе не внимает,
Что вместе с плачем прилетает;
Но чем народна тихость боле,
Свой тем единым красит трон,
Во всем Творца согласна воле;
50Та зрит на пышность, как на сон.

Она подобна той пернатой,
Что кровь свою из персей льет,
Да тем, своих хоть дней с утратой,
Птенцам довольство подает.
55Покой трудами нарушает,
Страны далеки обтекает,
Для пользы нашей потом льется?
Не для себя свой век живет:
Да обще счастье вознесется,
60Да всяк блаженны дни ведет.

Пред мысленными очесами
Предходит новый мне предмет;
Народ сокрылся с похвалами,
Ни сел, ни градов боле нет.
65Я духом в храмах освященных,
Темисой^[4] всем установленных,
Какой тут слышу слух веселый!
Не злобой пижут винным рок!
Ликуйте, росские пределы:
70На вас кровей не льется ток!

Стрелец, оружием снабженный,
На сыне видя лютых змей,

Любовью отчей побужденный
Спасти его напасти сей,
75Поспешно лук свой напрягает,
На сына стрелы обращает;
Но чтоб кровям его не литься
И жизнь безбедно сохранить,
Искусно метит он и тщится
80На нем лишь змей одних убить.

Таков твой суд есть милосердый,
Ты так к нам сердобольна, мать!
Велишь, — но были б мы безвредны, —
Пороки в нас ты истреблять.
85Для правды удовлетворенья,
Для вящшей злости пресеченья,
Грозишь закона нам стрелою;
Но жизнь преступших ты блюдешь.
Нас матерней казнишь рукою —
90И крови нашей ты не льешь.

Твою к нам милость, мать народа,
Мне всю удобно ль исчислять?
Произвела тебя природа,
Чтоб всю вселенну удивлять!
95Чем дале век твой протекает,
Тем боле смертных ущедряет.
Младенцам жизни ты спасаешь,
Законы старым пишешь ты,
Науки в юных расширяешь,
100Селишь обширны пустоты.

О, коль пространно всюду поле
Твоих, богиня, хвальных дел !
Вникаю тем, чем зрю их боле.

Не может мысль вместить в предел!
105Так мне уж можно ли стремиться
И петь тебя достойно льститься,
Коль Муз собор, Россиян клики
Немолчно тшятся ты гласить;
Но все твои дела велики
110И те не могут похвалить!

Тобой сколь род наш препрославлен
И сколь тобой блажен наш век,
Таков тебе алтарь поставлен
В сердцах российских человек,
115Премудра наших дней богиня!
Тишайша мать, героиня!
Ущедрь Господь твои так леты,
Как ты безмерно щедришь нас;
Исполнь всегда твои советы,
120Вонми мольбы смиренный глас!

Сие к тебе подданных чувство,
Покой душам! любовь сердец!
На что ж мне петь тогда искусство,
Коль всяк тебе внутри певец?
125Усердных только всех желаний,
Не ложных, искренних плесканий
Тебе свидетель сим нельстивный.
Они восходят до небес
И с славой вдруг твоей предивной
130Гремят хвалу твоих чудес.

1767

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ

Хоть вся теперь природа дремлет,
Одна моя любовь не спит;
Твои движенья, вздохи внемлет
4 И только на тебя глядит.

Приметь мои ты разговоры,
Помысль о мне наедине;
Брось на меня приятны взоры,
8 И нежностью ответствуй мне.

Единым отвечай воззреньем
И мысль свою мне сообщи:
Что с тем сравнится восхищеньем,
12 Как две сольются в нас души?

Представь в уме сие блаженство
И ускоряй его вкусить
Любовь лишь с божеством равенство
16 Нам может в жизни сей дарить.

<1770>

ЕВГЕНИЮ. ЖИЗНЬ ЗВАНСКАЯ

Блажен, кто менее зависит от людей,
Свободен от долгов и от хлопот приказных,
Не ищет при дворе ни злата, ни честей
4И чужд сует разнообразных!

Зачем же в Петрополь на вольну ехать страсть,
С пространства в тесноту, с свободы за затворы,
Под бремя роскоши, богатств, сирен под власть
8И пред вельможей пышны взоры?

Возможно ли сравнять что с вольностью златой,
С уединением и тишиной на Званке?

Довольство, здравие, согласие с женой,

12Покой мне нужен — дней в останке.

Восстав от сна, взвожу на небо скромный взор;

Мой утренюет дух Правителю вселенной;

Благодарю, что вновь чудес, красот позор

16Открыл мне в жизни толь блаженной.

Пройдя минувшую и не нашедши в ней,

Чтоб чёрная змия мне сердце угрызала,

О! коль доволен я, оставил что людей

20И честолюбия избег от жала!

Дыша невинностью, пью воздух, влагу рос,

Зрю на багрянец зарь, на солнце восходяще,

Ищу красивых мест между лилей и роз,

24Средь сада храм жезлом чертяще.

Иль, накормя моих пшеницей голубей,

Смотрю над чашей вод, как вьют под небом круги;

На разноперых птиц, поющих средь сетей,

28На кроющих, как снегом, луги.

Пастушьего вблизи внимаю рога зов,

Вдали тетеревей глухое токованье,

Барашков в воздухе, в кустах свист соловьёв,

32Рев крав, гром жолн и коней ржанье.

На кровле ж зазвенит как ласточка, и пар

Повеет с дома мне манжурской иль левантской,

Иду за круглый стол: и тут-то раздобар

36О снах, молве градской, крестьянской;

О славных подвигах великих тех мужей,
Чьи в рамках по стенам златых блистают лица
Для вспоминанья их деяний, славных дней,
40И для прикрас моей светлицы,

В которой поутру иль ввечеру порой
Дивлюся в Вестнике, в газетах иль журналах
Россиян храбрости, как всяк из них герой,
44Где есть Суворов в генералах!

В которой к госпоже, для похвалы гостей,
Приносят разные полотна, сукна, ткани,
Узорны, образцы салфеток, скатертей,
48Ковров и кружев, и вязани.

Где с скотен, пчельников и с птичников, прудов
То в масле, то в сотах зрю злато под ветвями,
То пурпур в ягодах, то бархат-пух грибов,
52Сребро, трепещуще лещами.

В которой, обозрев больных в больнице, врач
Приходит доносить о их вреде, здоровье,
Проя на пищу им: тем с поливкой калач,
56А тем лекарствица, в подспорье.

Где также иногда по палкам, по костям
Усатый староста иль скопидом брюхатый
Дают отчёт казне, и хлебу, и вещам,
60С улыбкой часто плутоватой.

И где, случается, художники млады
Работы кажут их на древе, на холстине,

И получают в дар подачи за труды,

64А в час и денег по полтине.

И где до ужина, чтобы прогнать как сон,

В задоре иногда, в игры зело горячи,

Играем в карты мы, в ерошки, в фараон,

68По грошу в долг и без отдачи.

Оттуда прихожу в святилище я муз,

И с Флакком,^[9] Пиндаром, богов восседши в пире,

К царям, к друзьям моим, иль к небу возношусь,

72Иль славлю сельску жизнь на лире.

Иль в зеркало времён, качая головой,

На страсти, на дела зрю древних, новых веков,

Не видя ничего, кроме любви одной

76К себе и драки человеков.

Всё суета сует! я, воздыхая, мню,

Но, бросив взор на блеск светила полудневна,

О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бремению?

80Творцом содержится вселенна.

Да будет на земли и в небесах его

Единого во всём вседействующа воля!

Он видит глубину всю сердца моего,

84И строится моя им доля.

Дворовых между тем, крестьянских рой детей

Сбираются ко мне не для какой науки,

А взять по несколько баранок, кренделей,

88Чтобы во мне не зрели буки.

Письмоводитель мой тут должен на моих

Бумагах мараных, пастух как на овечках,
Репейник вычищать, — хоть мыслей нет больших,
92Блестят и жучки в епанечках.

Бьёт полдня час, рабы служить к столу бегут;
Идёт за трапезу гостей хозяйка с хором.
Я озреваю стол — и вижу разных блюд
96Цветник, поставленный узором.

Багряна ветчина, зелёны щи с желтком,
Румяно-жёлт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером
100Там щука пёстрая: прекрасны!

Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус;
Но не обилием иль чуждых стран приправой,
А что опрятно всё и представляет Русь:
104Припас домашний, свежий, здоровый.

Когда же мы донских и крымских кубки вин,
И липца, воронка и чернопенна пива
Запустим несколько в румяный лоб хмелин, —
108Беседа за сладьми шутлива.

Но молча вдруг встаём: бьёт, искрами горя,
Древ русских сладкий сок до подвенечных бревен;
За здравье с громом пьём любезного царя,
112Цариц, царевичей, царевен.

Тут кофе два глотка; схрапну минут пяток;
Там в шахматы, в шары иль из лука стрелами,
Пернатый к потолку лаптой мечу леток
116И тешусь разными играми.

Иль из кристальных вод, купален, между древ,
От солнца, от людей под скромным осененьем,
Там внемлю юношей, а здесь плесканье дев,
120С душевным неким восхищеньем.

Иль в стёкла оптики картинные места
Смотрю моих усадьб; на свитках грады, царства,
Моря, леса, — лежит вся мира красота
124В глазах, искусств через коварства.

Иль в мрачном фонаре люблюсь, звезды зря
Бегущи в тишине по синю волн стремленью:
Так солнцы в воздухе, я мню, текут горя,
128Премудрости ко прославленью.

Иль смотрим, как вода с плотины с ревом льёт
И, движа машину, древа на доски делит;
Как сквозь чугунных пар столпов на воздух бьёт
132Клокоча огонь, толчёт и мелет.

Иль любопытны, как бумажны руны волн
В лотки сквозь игл, колёс, подобно снегу, льются
В пушистых локонах, и тьмы вдруг веретён
136Марииной рукой прядутся.

Иль как на лён, на шёлк цвет, пестрота и лоск,
Все прелести, красы берутся с поль царицы;
Сталь жёсткая, глядим, как мягкий, алый воск,
140Куётся в бердыши милицы.

И сельски ратники как, царства став щитом,
Бегут с стремленьем в строй во рыцарском убранстве,
«За веру, за царя мы, — говорят, — помрём,
144Чем у французов быть в подданстве».

Иль в лодке вдоль реки, по берегу пеш, верхом,
Качусь на дрожках я соседей с вереницей;
То рыбу удами, то дичь громим свинцом,
148То зайцев ловим псов станицей.

Иль стоя внемлем шум зелёных, чёрных волн,
Как дёрн бугрит соха, злак трав падёт косами,
Серпами злато нив, — и, ароматов полн,
152Порхает ветер меж нимф рядами.

Иль смотрим, как бежит под чёрной тучей тень
По копнам, по снопам, коврам жёлто-зелёным,
И сходит солнышко на нижнюю степен
156К холмам и рощам сине-тёмным.

Иль, утомясь, идём скирдов, дубов под сень;
На берегу Волхова разводим огонь дымистый;
Глядим, как на воду ложится красный день,
160И пьём под небом чай душистый.

Забавно! в тьме челнов с сетью как рыбаки,
Ленивым строем пльв, страшат тварь влаги стуком;
Как парусы суда и лямкой бурлаки
164Влекут одним под песнью духом.

Прекрасно! тихие, отлогие берега
И редки холмики, селений мелких полны,
Как, полосаты их клоня поля, луга,
168Стоят над током струй безмолвны.

Приятно! как вдали сверкает луч с косы
И эхо за лесом под мглой гамит народа,
Жнецов поющих, жниц полк идет с полосы,

172 Когда мы едем из похода.

Стёкл заревом горит мой храмовидный дом,
На гору жёлтый всход меж роз осиявая,
Где встречу водомёт шумит лучей дождём,
176 Звучит музыка духовая.

Из жерл чугунных гром по праздникам ревёт;
Под звёздной молнией, под светлыми древами
Толпа крестьян, их жён вино и пиво пьёт,
180 Поёт и пляшет под гудками.

Но скучит как сия забава сельска нам,
Внутри дома тешимся столиц увеселеньем;
Велим талантами родных своих детям
184 Блистать: музыкой, пляской, пеньем.

Амурчиков, харит плетень, иль хоровод,
Заняв у Талии игру и Терпсихоры,
Цветочные венки пастух пастушке вьёт,
188 А мы на них и пялим взоры.

Там с арфы звучныя порывный в души гром,
Здесь тихогрома с струн смягченны, плавны тоны
Бегут, — и в естестве согласия во всём
192 Дают нам чувствовать законы.

Но нет как праздника, и в будни я один,
На возвышении сидя столпов перильных,
При гусях под вечер, челом моих седин
196 Склонясь, ношусь в мечтах умильных;

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
Мимолетящи суть все времени мечтанья:

Проходят годы, дни, рёв морь и бурей шум,
200И всех зефиров повеванья.

Ах! где ж, ищу я вкруг, минувший красный день?
Победы слава где, лучи Екатерины?
Где Павловы дела? Сокрылось солнце, — тень!..
204Кто весть и впредь полёт орлиный?

Вид лета красного нам Александров век:
Он сердцем нежных лир удобен двигать струны;
Блаженствовал под ним в спокойстве человек,
208Но мечет днесь и он перуны.

Умолкнут ли они? — Сие лишь знает тот,
Который к одному концу все правит сферы;
Он перстом их своим, как строй какой ведёт,
212Ко благу общему склоняя меры.

Он корни помыслов, он зрит полёт всех мечт
И поглумляется безумству человеков:
Тех освещает мрак, тех помрачает свет
216И днешних и грядущих веков.

Грудь россов утвердил, как стену, он в отпор
Темиру новому под Пультуском, Прейсш-лау;
Младых вождей расцвёл победами там взор
220И скрыл орла седого славу.

Так самых светлых звезд блеск меркнет от ночей.
Что жизнь ничтожная? Моя скудельна лира!
Увы! и даже прах спахнёт моих костей
224Сатурн крылами с тленна мира.

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад,

Не вспомнянется нигде и имя Званки;
Но сов, сычей из дупл огнезелёный взгляд
228И разве дым сверкнёт с землянки.

Иль нет, Евгений! ты, быв некогда моих
Свидетель песен здесь, взойдёшь на холм тот страшный.
Который тощих недр и сводов внутрь своих
232Вождя, волхва гроб кроет мрачный,

От коего, как гром катается над ним,
С булатных ржавых врат и збури медной гулы
Так слышны под землёй, как грохотом глухим,
236В лесах трясясь, звучат стрел тулы.

Так, разве ты, отец! святым своим жезлом
Ударив об доски, заросши мхом, железны,
И свитых вокруг моей могилы змей гнездом
240Прогонишь — бледну зависть — в бездны.

Не зря на колесо весёлых, мрачных дней,
На возвышение, на понижение счастья,
Единой правдою меня в умах людей
244Чрез Клии воскресишь согласишься.

Так, в мраке вечности она своей трубой
Удобна лишь явить то место, где отзывы
От лиры моя шумящею рекой
248Неслись чрез холмы, доли, нивы.

Ты слышал их, и ты, будя твоим пером
Потомков ото сна, близ севера столицы,
Шепнёшь в слух страннику, в дали как тихий гром:
252«Здесь Бога жил певец, — Фелицы».

Май — июль 1807

НА ПОКОРЕНИЕ ПАРИЖА

Сердце пленяющая лира!
Гений восторга! взносись
И, обтекая вокруг мира,
4 Светлый твой голос возвысь.
Пой того крепость, мощь львицу
Агнца, — кто кротость явил,
И другую половину
8 Света — Париж покорил!

Милостью больше, чем гневом,
В славе блестящ там, как Бог,
Препровожденный вшел небом
12 В древний Бурбонов чертог;
Дух к ним народа любовью
Возжегши, их воскресил;
Бедства московски не кровью,
16 Благом злодеям отмстил.

Здрав, Александр,
Царь будь царей,
Что без наград
20 Твердой твоей
Сверг злость ты душой,
Доблесть вознес,
Прямо герой!
24 Славься сим днесь!

Слава тебе днесь какая
В мире обширном звучит,
Счастьем что, сладостьми рая
28 Вкруг доблесть дух твой поит:
Взглянешь на грады, — спасенны;
Храмы ль зришь, — жертвы курят;
Дети ль отцам возвращенны, —
32 Все их спасителя чтят.

Сколько ж отрадно, приятно
Быть Россиянином днесь,
Что ты нас так благодатно
36 Славой и честью вознес!
Вся нас теперя вселенна
Своей уж защитой чтет;
Европа уз освобожденна
40 Хвальными песньми поет.

Здрав, Александр,
Царь будь царей,
Что без наград
44 Твердой твоей
Сверг злость ты душой,
Доблесть вознес,
Прямо герой!
48 Славься сим днесь!

Сладкие слезы восторга
С радостных льются очес:
Ангела ль кротка, иль бога,

52 Сына ль, любимца ль небес
Зрим в тебе, иль исполина,
Маньем смирил что руки
Мир весь? — Петр, Екатерина,
56 Столько ль, как ты, велики?

Мудростью, правдой, геройством
Чудный стяжал ты венец.
С богоподобным к нам свойством
60 Царь возвратись и отец!
К матери нежной скорее
В славе победных лучей;
Солнце весной как светлее,
64 Дай жизнь России так всей.

Здрав, Александр,
Царь будь царей,
Что без наград
68 Твердой твоей
Сверг злость ты душой,
Доблесть вознес,
Прямо герой!
72 Славься сим днесь!

17 апреля 1814

Василий Андреевич Жуковский (1783-1852)

МАЙСКОЕ УТРО

Бело-румяна
Всходит заря
И разгоняет
Блеском своим
Мрачную тьму
Черныя ночи.

Феб златозарный,
Лик свой явивши,
Все оживил.
Вся уж природа
Светом оделась
И процвела.

Сон вострепнулся
И отлетает
В царство свое.
Грезы, мечтанья,
Рой как пчелиный,
Мчатся за ним.

Смертны, вспряните!
С благоговеньем,
С чистой душой,
Пад пред всевышним,
Пламень сердечный
Мы излием.

Радужны крылья
Распростирая,

3

Бабочка пестра
Вьется, кружится
И лобызает
Нежно цветки.

Трудолюбива
Пчелка золотая
Мчится, жужжит.
Все, что бесплодно,
То оставляет —
К розе спешит.

Горлица нежна
Лес наполняет
Стоном своим.
Ах! знать, любезна,
Сердцу драгова,
С ней уже нет!

Верна подружка!
Для чего тщетно
В грусти, тоске
Время проводишь?
Рвешь и терзаешь
Сердце свое?

Можно ль о благе
Плакать другого?..
Он ведь заснул
И не страшится

Лука и злобы
Хитра стрелка.

Жизнь, друг мой, бездна
Слез и страданий...
Счастлив стократ
Тот, кто, достигнув
Мирного берега,
Вечным спит сном.

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837)

ОСЕНЬ

(ОТРЫВОК)

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?

Державин.

I.

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

II.

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

III.

Как весело, обув железом острым ноги,

Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!

А зимних праздников блестящие тревоги?...

Но надо знать и честь; полгода снег да снег,

Ведь это наконец и жителю берлоги,

Медведю надоест. Нельзя же целый век

Кататься нам в санях с Армидами младыми,

Иль киснуть у печей за стеклами двойными.

IV.

Ох, лето красное! любил бы я тебя,

Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.

Ты, все душевные способности губя,

Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;

Лишь как бы напоить, да освежить себя —

Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,

И, проводив ее блинами и вином,

Поминки ей творим мороженым и льдом.

V.

Дни поздней осени бранят обыкновенно,

Но мне она мила, читатель дорогой,

Красою тихою, блистающей смиренно.

Так нелюбимое дитя в семье родной

К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,

Из годовых времен я рад лишь ей одной,

В ней много доброго; любовник не тщеславный,

Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

VI.

Как это объяснить? Мне нравится она,

Как, вероятно, вам чахоточная дева

Порою нравится. На смерть осуждена,

Бедняжка клонится без ропота, без гнева.

Улыбка на устах увянувших видна;

Могильной пропасти она не слышит зева;

Играет на лице еще багровый цвет.

Она жива еще сегодня, завтра нет.

VII.

Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыхание,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

VIII.

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русской холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

IX.

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривой, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол, и трескается лед.

Но гаснет краткий день, и в камельке забытом

Огонь опять горит — то яркий свет лиет,

То тлеет медленно — а я пред ним читаю,

Иль думы долгие в душе моей питаю.

X.

И забываю мир — и в сладкой тишине

Я сладко усыплен моим воображеньем,

И пробуждается поэзия во мне:

Душа стесняется лирическим волненьем,

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,

Излиться наконец свободным проявленьем —

И тут ко мне идет незримый рой гостей,

Знакомцы давние, плоды мечты моей.

XI.

И мысли в голове волнуются в отваге,

И рифмы легкие навстречу им бегут,

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,

Минута — и стихи свободно потекут.

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,

Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут

Вверх, вниз ура — и паруса надулись, ветра полны;

Громада двинулась и рассекает волны.

ХII.

Плывет. Куда ж нам плыть?....

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1941)

Пленный рыцарь

Молча сажу под окошком темницы;

Синее небо отсюда мне видно:

В небе играют всё вольные птицы;

Глядя на них, мне и больно и стыдно.

Нет на устах моих грешной молитвы,

Нету ни песни во славу любезной:

Помню я только старинные битвы,

Меч мой тяжелый да панцирь железный.

В каменный панцирь я ныне закован,

Каменный шлем мою голову давит,

Щит мой от стрел и меча заколдован,
Конь мой бежит, и никто им не правит.
Быстрое время — мой конь неизменный,
Шлема забрало — решетка бойницы,
Каменный панцирь — высокие стены,
Щит мой — чугунные двери темницы.
Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой броней мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя;

Слезу и сдерну с лица я забрало.

Алексей Апухтин (1840-1893)

НОЧЬ

*К ****

Замолкли, путаясь, пустые звуки дня,
Один я наконец, все спит кругом меня;
Все будто замерло... Но я не сплю: мне больно
За день, в бездействии утраченный невольно.
От лампы бледный свет, бродящий по стенам,
Враждебным кажется испуганным очам;
Часы так глухо бьют, и с каждым их ударом
Я чую новый миг, прожитый мною даром.
И в грезах пламенных меж призраков иных
Я вижу образ твой, созданье дум моих;

Уж сердце чуткое бежит к нему пугливо...
Но он так холоден к печали молчаливой,
И так безрадостен, и так неуловим,
Что содрогаюсь я и трепещу пред ним...

Но утро близится... Тусклей огня мерцанье,
Тусклей в моей душе горят воспоминанья...
Хоть на мгновение обманчивый покой
Коснется вежд моих... А завтра, ангел мой,
Опять в часы труда, в часы дневного бденья,
Ты мне предстанешь вдруг, как грозное виденье.
Томясь, увижу я среди мелкой суеты
Осмеянную грусть, разбитые мечты
И чувство светлое, как небо в час рассвета,
Заглохшее впотьмах без слов и без ответа!..
И скучный день пройдет бесплодно... И опять
В мучительной тоске я буду ночи ждать,
Чтобы хоть язвами любви неутолимой
Я любоваться мог, один, никем не зримый...

20 октября 1856

Николай Некрасов (1821-1877)

Рыцарь на час

Если пасмурен день, если ночь не светла,

Если ветер осенний бушует,
Над душой воцаряется мгла,
Ум, бездействуя, вяло тоскует.
Только сном и возможно помочь,
Но, к несчастью, не всякому спится...

Слава богу! морозная ночь -
Я сегодня не буду томиться.
По широкому полю иду,
Раздаются шаги мои звонко,
Разбудил я гусей на пруду,
Я со стога спугнул ястребенка.
Как он вздрогнул! как крылья развил!
Как взмахнул ими сильно и плавно!
Долго, долго за ним я следил,
Я невольно сказал ему: славно!
Чу! стучит проезжающий воз,
Деготком потянуло с дороги...
Обоняние тонко в мороз,
Мысли свежи, выносливы ноги.
Отдаешься невольно во власть
Окружающей бодрой природы;
Сила юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы
Наполняют ожившую грудь;
Жаждой тела душа закипает,
Вспоминается пройденный путь,
Совесть песню свою запекает...

Я советую гнать ее прочь -
Будет время еще сосчитаться!
В эту тихую, лунную ночь
Созерцанию должно предаться.
Даль глубоко прозрачна, чиста,

Месяц полный плывет над дубровой,
И господствуют в небе цвета
Голубой, беловатый, лиловый.
Воды ярко блестят среди полей,
А земля прихотливо одета
В волны белого лунного света
И узорчатых, странных теней.
От больших очертаний картины
До тончайших сетей паутины
Что как иней к земле прилегли, -
Всё отчетливо видно: далече
Протянулись полосы гречи,
Красной лентой по скату прошли;
Замыкающий сонные нивы,
Лес сквозит, весь усыпан листвою;
Чудны красок его переливы
Под играющей, ясной луной;
Дуб ли пасмурный, клен ли веселый -
В нем легко отличишь издали;
Грудью к северу; ворон тяжелый -
Видишь - дремлет на старой ели!
Всё, чем может порадовать сына
Поздней осенью родина-мать:
Зеленеющей озими гладь,
Подо льном - золотая долина,
Посреди освещенных лугов
Величавое войско стогов -
Всё доступно довольному взору...
Не сожмется мучительно грудь,
Если б даже пришлось в эту пору
На родную деревню взглянуть:
Не видна ее бедность нагая!
Запаслася скирдами, родная,
Окружилася ими она

И стоит, словно полная чаша.
Пожелай ей покойного сна -
Утомилась, кормилица наша!..

Спи, кто может, - я спать не могу,
Я стою потихоньку, без шуму
На покрытом стогами лугу
И невольную думаю думу.
Не умел я с тобой совладать,
Не осилил я думы жестокой...

В эту ночь я хотел бы рыдать
На могиле далекой,
Где лежит моя бедная мать...

В стороне от больших городов,
Посреди бесконечных лугов,
За селом, на горе невысокой,
Вся бела, вся видна при луне,
Церковь старая чудится мне,
И на белой церковной стене
Отражается крест одинокий.
Да! я вижу тебя, божий дом!
Вижу надписи вдоль по карнизу
И апостола Павла с мечом,
Облаченного в светлую ризу.
Поднимается сторож-старик
На свою колокольню-руину,
На тени он громадно велик:
Пополам пересек всю равнину.
Поднимись! - и медлительно бей,
Чтобы слышалось долго гуденье!
В тишине деревенских ночей
Этих звуков властительно пенье:

Если есть в околотке больной,
Он при них вострепнется душой
И, считая внимательно звуки,
Позабудет на миг свои муки;
Одинокий ли путник ночной
Их заслышит - бодрее шагает;
Их заботливый пахарь считает
И, крестом осенясь в полусне,
Просит бога о ведреном дне.

Звук за звуком гудя прокатился,
Насчитал я двенадцать часов.
С колокольни старик возвратился,
Слышу шум его звонких шагов,
Вижу тень его; сел на ступени,
Дремлет, голову свесив в колени.
Он в мохнатую шапку одет,
В балахоне убогом и темном...
Всё, чего не видал столько лет,
От чего я пространством огромным
Отделен, - всё живет предо мной,
Всё так ярко рисуется взору,
Что не верится мне в эту пору,
Чтоб не мог увидеть я и той,
Чья душа здесь незримо витает,
Кто под этим крестом почивает...

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других.
С головой, бурям жизни открытою,
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла, - грудью своей

Защищая любимых детей.
И гроза над тобой разразилась!
Ты, не дрогнув, удар приняла,
За врагов, умирая, молилася,
На детей милость бога звала.
Неужели за годы страдания
Тот, кто столько тобою был чтим,
Не пошлет тебе радость свидания
С погибающим сыном твоим?..

Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
О прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну - и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!
Чтоб ту силу свободную, гордую,
Что в мою заложила ты грудь,
Укрепила ты волею твердою
И на правый поставила путь...

Треволненья мирского далекая,
С неземным выраженьем в очах,
Русокудрая, голубоокая,
С тихой грустью на бледных устах,
Под грозой величаво-безгласная, -
Молода умерла ты, прекрасная,
И такой же явилась ты мне

При волшебной светящей луне.
Да! я вижу тебя, бледнолицую,
И на суд твой себя отдаю.
Не робеть перед правдой-царицею
Научила ты музу мою:
Мне не страшны друзей сожаления,
Не обидно врагов торжество,
Изреки только слово прощения,
Ты, чистейшей любви божество!
Что враги? пусть клеветают язвительней.
Я пощады у них не прошу,
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!
Что друзья? Наши силы неровные,
Я ни в чем середины не знал,
Что обходят они, хладнокровные,
Я на всё безрассудно дерзал,
Я не думал, что молодость шумная,
Что надменная сила пройдет -
И влекла меня жажда безумная,
Жажда жизни - вперед и вперед!
Увлекаем бесславною битвою,
Сколько раз я над бездной стоял,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падал - и вовсе упал!..
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагривших руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Тот, чья жизнь бесполезно разбилась,

Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце неробкое билося,
Что умел он любить...

.....

(Утром, в постели)

О мечты! о волшебная власть
Возвышающей душу природы!
Пламя юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы -
Всё в душе угнетенной моей
Пробудилось... но где же ты, сила?
Я проснулся ребенка слабей.
Знаю: день проваляюсь уныло,
Ночью буду микстуру глотать,
И пугать меня будет могила,
Где лежит моя бедная мать.

Всё, что в сердце кипело, боролось,
Всё луч бледного утра спугнул,
И насмешливый внутренний голос
Злую песню свою затянул:
"Покорись, о ничтожное племя!
Неизбежной и горькой судьбе,
Захватило нас трудное время
Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано..."

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865-1941)

Возвращение

Глядим, глядим все в ту же сторону,
За мшистый дол, за топкий лес.
Вослед прокаркавшему ворону,
На край темнеющих небес.
Давно ли ты, громада косная,
В освобождающей войне,
Как Божья туча громоносная,
Вставала в буре и в огне?
О, Русь! И вот опять закована,
И безглагольна, и пуста,
Какой ты чарой зачарована,
Каким проклятьем проклята?
И все ж тоска неодолимая
К тебе влечет: прими, прости.
Не ты ль одна у нас родимая?
Нам больше некуда идти,
Так, во грехе тобой зачатые,
Должны с тобою погибать
Мы, дети, матерью проклятые
И проклинаящие мать.

Марина Цветаева (1892-1941)

Не знаю вас и не хочу
Терять, узнав, иллюзий звездных.
С таким лицом и в худших безднах
Бывают преданны лучу.

5 У всех, отмеченных судьбой,
Такие замкнутые лица.
Вы непрочтённая страница
И, нет, не станете рабой!

С таким лицом рабой? О, нет!
10 И здесь ошибки нет случайной.
Я знаю: многим будут тайной
Ваш взгляд и тонкий силуэт,

Волос тяжёлое кольцо
Из-под наброшенного шарфа
15 (Вам шла б гитара или арфа)
И ваше бледное лицо.

Я вас не знаю. Может быть
И вы как все любезно-средни...
Пусть так! Пусть это будут бредни!
20 Ведь только бредней можно жить!

Быть может, день недалеко,
Я всё пойму, что неприглядно...
Но ошибаться — так отрадно!
Но ошибиться — так легко!

25 Слегка за шарф держась рукой,
Там, где свистки гудят с тревогой,
Стояли вы загадкой строгой.
Я буду помнить вас — такой.

Севастополь. Пасха, 1909

Анна Ахматова (1889-1966)

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

И от лени или от скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина...
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор все как будто больна.

Вознесенский Андрей (1933-2010)

Не возвращайтесь к былым возлюбленным

Не возвращайтесь к былым возлюбленным,
былых возлюбленных на свете нет.

Есть дубликаты —
как домик убранный,
где они жили немного лет.

Вас лаем встретит собачка белая,
и расположенные на холме
две рощи — правая, а позже левая —
повторят лай про себя, во мгле.

Два эха в рощах живут отдельные,
как будто в стереоколонках двух,
все, что ты сделала и что я сделаю,
они разносят по свету вслух.

А в доме эхо уронит чашку,
ложное эхо предложит чай,
ложное эхо оставит на ночь,
когда ей надо бы закричать:

«Не возвращайся ко мне, возлюбленный,
былых возлюбленных на свете нет,
две изумительные изюминки,
хоть и расправятся тебе в ответ...»

А завтра вечером, на поезд следую,
вы в речку выбросите ключи,
и роща правая, и роща левая
вам вашим голосом прокричит:

«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

Федор Тютчев

Русская география

Москва, и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? и где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам их судьбы обличат...
Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не пройдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

•
•
•
•
•

Николай Некрасов

Железная дорога

*Ваня (в кучерском армячке).
Папаша! кто строил эту дорогу?
Папаша (в пальто на красной подкладке),
Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!
Разговор в вагоне*

1

Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой и простор!
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.

Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —

Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...

2

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Чу! восклицанья слышались грозные!
Топот и скрежет зубов;

Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!

То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотей-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Всё претерпели мы, божию ратники,
Мирные дети труда!

Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?..»

Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки,
С разных концов государства великого —
Это всё братья твои — мужики!

А. А. Фет

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

[К списку стихотворений](#)[К словарю](#)

Ф. И. Тютчев. 14-е декабря 1825

Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил, –
И в неподкупном беспристрастье
Сей приговор Закон скрепил.
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена –
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, схоронена.

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!

Едва, дымясь, она сверкнула,
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула –
И не осталось и следов.

1826